

БЕСЕДА СЛОВЕНСКОЙ ПЕРЕВОДЧИЦЫ ЛИЯНЫ ДЕЯК С МАРИНОЙ ПАЛЕЙ

Л. Д. Марина, я много раз слышала о вас такие определения: будоражащий, загадочный, таинственный автор. Ваше имя вызывает интерес и ожесточённые споры у знатоков русской словесности, но живёт оно — как бы это сказать? — словно отдельно от автора...

М. П. А бывает иначе?

Л. Д. Ситуация в целом выглядит так: ваша проза переведена на пятнадцать языков; романы и повести входят в финалы престижных российских премий; работы включены в обязательную программу изучения текущей российской литературы — как в России, так и за рубежом...

М. П. Охотно поменялась бы местами с моим именем...

Л. Д. А при этом ваша человеческая жизнь, про которую ходят разнообразные слухи и легенды, остаётся тайной. Вряд ли кто-нибудь может похвастаться, что видел вас на каком-либо российском «мероприятии»... Да и на зарубежном тоже... Я, например, случайно столкнулась с вами на одном из островов Эгейского моря (на Родосе — *прим. переводчика*). Теперь, зная вас немного лучше, понимаю, что остров — это, пожалуй, неслучайное — и даже символичное — место, где вас можно встретить вообще. За восемнадцать лет своей писательской работы вы, несмотря на проявляемый к вам интерес, не дали ни одного интервью. Возможно, так сказывается опасение допустить в устной речи огрехи — неряшливость, «неперфектность», — опасение, какое всегда было, например, у Набокова?

М. П. В устной речи я могу оставаться такой же точной, как и в письменной. И всё же устная речь для меня — это словно бы вынужденный перевод на чей-то язык. Родным я считаю только тот язык, на котором пишу. Он даже глубже во мне, чем «родной»: это — интимный язык. А можно сказать и так: мой настоящий (т. е. литературный) язык — это агентурная шифровка, код которой известен немногим. Когда меня называют «загадочным автором», я надеюсь, это относится не к деталям моей частной жизни, а к художественному результату.

Л. Д. За вами закреплена слава блистательного стилиста. Насколько я знаю, когда в 1995 году вы приехали в Роттердам на Международный фестиваль литературы, журналисты наградили вас титулом “Russische Stijlprinses” («Русская Принцесса Стиля»).

М. П. Когда слышу о ком-нибудь, что он — «стилист», буквально впадаю в тоску. На мой взгляд, «стилист» — это всего лишь автор, который, как сказал классик, *неукоснительно соблюдает все пункты художественного договора с читателем*. А разве не бесстыдно со стороны пишущего — эти «пункты» не соблюдать? Не может быть двух литератур — «литературы высокого качества» и «просто литературы» — искусство высокосортно по определению. Масс-культура с чудовищной мощью, эффективно и безостановочно, то есть на корню, истребляет в сознании читателей само представление о критерии качества. Фраза «автор, да еще и стилист» — трагикомична до абсурда. Это всё равно, что вам бы сказали: такой-то является танцовщиком балета и, знаете, вдобавок к тому он ещё и танцует!

Л. Д. Марина, ваша проза публикуется в Словении впервые. Как автор вы здесь пока не известны. Могли бы вы рассказать о себе вкратце — откуда вы родом? Где вы живете сейчас?

М. П. Начну с конца. Где я живу? Как сказал один мой любимый автор, «живу в мастерской — среди неподошедших конечностей и недоделанных торсов».

Л. Д. Насколько я понимаю, «мастерская» в данном контексте — это пространство творческого сознания?

М. П. Абсолютно верно.

Л. Д. А можно ли узнать, где географически находится сам «носитель сознания»? В вашем конкретном случае?

М. П. «Носитель моего сознания» уже немало лет живёт в Нидерландах, на берегу Северного моря. Последние три года — в очаровательном городке четырнадцатого века, название которого переводится как «Маасский шлюз» (Маас — ветвь Рейна в его дельте — *прим. переводчика*). Тип земли, на котором я живу, именуется polder. Словарь, с положенной ему нейтральностью, пере-

водит этот термин как «плодородный участок суши, лежащий ниже уровня моря и окруженный дамбами».

А на практике polder значит то, что этой суши в природе не существовало. И ещё это означает, что миллионы голландцев – поколение за поколением, столетие за столетием, обливаясь потом, – с безостановочным упорством и маниакальностью муравьёв – отвоёвывали землю у вод Атлантики. Для чего? Получается, для того, чтобы здесь, на этом клочке рукотворной тверди, в который они вложили миллионы жизней, принять и обустроить представителей всех уголков планеты.

То есть пришельцев. Которые, по причине «тканевой несовместимости» (медицинский термин), оказались чужеродны на своей «родине» и, как следствие, ею вытеснены.

Загадочная миссия голландцев! В итоге здесь нашла своё место и я. Даже больше: именно здесь, в этой крошечной стране, я впервые ощутила то, что Бродский называл the Earths width (земная ширь, простор). Парадоксально, не так ли? Ведь я говорю сейчас о стране, которая территориально меньше страны моего происхождения почти в пятьсот раз.

Л. Д. Расскажите немного о городке, где живёте.

М. П. В нём белым-бело от морских птиц... Огромные стаи мощных пернатых – хищных, крепкоклювых, царственных... Я даже скажу – венценосных... Казалось бы, это должно напоминать повесть Дафны Дюморье «Птицы» (или/и одноименный фильм Хичкока) – но... Ландшафт, по моему ощущению, крайне далёк от зловещего – он дарит покой и свободу. Кстати, к морю здесь следует подниматься по лесенке... Выходишь на берег... На севере – Англия, на закате солнца – Атлантика.

Л. Д. Короче говоря, северо-запад Европы...

М. П. Именно так. А при этом меня, в нашем районе, вы узнали бы сразу. Я – одна из немногих здесь женщин без мусульманского головного платка.

Л. Д. Я знаю, что вы живёте крайне уединённо, почти отшельнически...

М. П. Мои берберо-мароккано-индонезийско-суринамские соседи по кварталу считают, что я немецко-австрийская шпионка французского происхождения. Эпизодические приятели (квотирующие, соответственно, этнические группы планеты) знают меня исключительно под другими именами.

Л. Д. В одном из ваших документов оказалось записано, что вы родом из Южной Африки. Как это случилось?

М. П. Когда на вопрос «Waar komt u vandaan?» («Откуда вы приехали?») я отвечала – «Из Санкт-Петербурга», ответная реплика бывала такой: «О, Вы говорите на африканос?» То есть вместо «Санкт-Петербург» им, историческим предкам буров, зачастую слышалось «Йоханнесбург».

Л. Д. Надеюсь, мы сможем избежать подобных недоразумений... Расскажите, пожалуйста, чему и где вы учились?

М. П. Мне повезло получить медицинское образование в Петербурге (сейчас этот институт называется Медицинской академией имени И. И. Мечникова) и работать там же врачом – видимо, для того, чтобы потом с отличием закончить в Москве отделение критики Литературного института. А закончила я отделение критики, видимо, для того, чтобы писать во всех жанрах, кроме критики, – и всё это произошло перед тем, как, перелетев на голландский берег, я нырнула очертя голову в штормовой океан нидерландского языка – со спасительными островами английского.

Л. Д. Где живет ваша семья? В Петербурге или с вами, в Нидерландах?

М. П. В середине девяностых годов произошло следующее. Мой сын, в свои семнадцать лет, один, вынужден был уехать в Израиль. Мой отец, будучи пенсионером и инвалидом, вынужден был эмигрировать в Германию. Моя мать в тот период оставалась ещё в России... Я же, после довольно долгих скитаний, осела наконец в Нидерландах. В результате к концу прошлого тысячелетия итог для нашей семьи оказался таков: мы, четверо близких людей, стали жить на четыре страны (стороны): каждый член семьи – в отдельной стране. Весело, правда?

Л. Д. По-моему, ничего весёлого.

М. П. А я могу сделать из этого невероятно весёлый текст. Просто до слёз. «Gone with the Wind-2».

Л. Д. А как развивалась история вашей семьи дальше, с началом нового тысячелетия?

М. П. Мой отец через несколько лет умер. То есть отправился в конечную (бесконечную?) эмиграцию. В России он, разумеется, умер бы гораздо раньше. А мать переехала из Питера в Бонн. В итоге – мы так и живем на четыре стороны, включая теперь уже инобытийное измерение.

Л. Д. Вы однажды сказали: «Моя жизнь в условиях монокультуры казалась бы мне искусственно усечённой». Можете пояснить свою мысль?

М. П. По сути, я никогда и не жила в условиях монокультуры. Например, кое-что я унаследовала от «заграничного» отца. Он родился и рос в Румынии, говорил до восьми лет на идиш и румынском. В сорок первом, с приходом фашистов, его мать, с двумя маленькими сыновьями, бежала на восток. Причём бежала так долго, что попала в Сибирь. В посёлок под Карлагом. (Воистину широк выбор европейца двадцатого века — между Освенцимом и Карлагом!) Там, под этим самым Карлагом, мой будущий отец и заговорил по-русски. (Получается — благодаря немцам.) Он до конца своих дней оставался довольно отстранённым от «традиционного русского уклада». Не припомню, чтобы когда-либо он оперировал ключевым русским словом «мы».

Л. Д. Но вы-то ведь родились в Петербурге?

М. П. Да. В городе, который геополитически тяготеет к Финляндии, вообще к Скандинавии — а при закладке своей был задуман как полис центрально-европейского типа — то есть как структура, принципиально альтернативная российской.

Моё дошкольное детство — это Ингерманландия. Так издревле называлась территория (то шведская, то финская, то российская) между Финским заливом и южной частью Ладоги. Короткий вариант названия — Ингрия.

Сосны, ели, озёра, валуны... Снега и льды... Мхи... Тишина... Именно Ингерманландии я обязана всем, что чувствую, что умею в литературе. Там во времена моего детства царила грустная, словно заплаканная красота. Угрюмый уют хвойных лесов, покой... Какое-то итоговое утешение.

Л. Д. Я знаю, что существует несколько статей финской и шведской переводчицы, славистки Янины Орлов, касающихся вашей огромной любви к природе и быту Финляндии, говоря шире — к Скандинавии. Кроме того, вы и сами как-то сказали, что Финляндия — это «словно смягчённая и расцвеченная снами, отмытая от ила и слизи будней» страна вашего детства...

М. П. Нечто схожее чувствовали и некоторые другие петербургские авторы: «...в Финляндии, оставшейся в душе как что-то более русское, чем сама Россия...», — писал (живя в Германии) Набоков; «Маленькая аномалия: тоску по родине я испытываю не о России, а о Финляндии», — писал (из Франции) Мандельштам. Вы знаете, что уже несколько лет набирает силу движение ингерманландских сепаратистов?

Л. Д. Нет, не слышала...

М. П. Всей душой поддерживаю.

Л. Д. Однако эта «ингерманландская идиллия» длилась, насколько я знаю, недолго... Что было потом?

М. П. В подростковые годы я сменила около двадцати школ. Моя мать занималась пуском и наладкой новых химических производств. А такие предприятия крайне далеки от столиц и «культурных центров». В результате наш путь проходил через забытые богом населённые пункты самых разных республик и областей: Казахстана, Чувашии, Украины... через степи Поволжья...

Л. Д. Богатый материал для писателя...

М. П. Да, как говорят американцы, *what doesn't kill you, it makes you stronger* («что не угробит, то укрепит»). Потому что то были, скорей, довольно жестокие скитания, чем просто «деловые командировки». Вспоминать о них невероятно тяжело. Если же говорить о «разнообразии культур»... В тот период (конец шестидесятых — начало семидесятых) мне нигде не встретилось естественное — национальное или хотя бы территориальное — «своеобразие». Всё намертво уравнивали дикостью и нищетой.

Но меня, с момента, как я стала писать, примиряет с жизнью её неистощимый артистизм. И тот сугубо художественный результат, который она безостановочно производит. Что я имею в виду? Например, в набоковском романе «Защита Лукина» (моём любимом) главный герой, в какой-то миг, начинает сознавать, что, хочет он того или нет, вторая часть его жизни — с зеркальной точностью — дублирует узоры и хитросплетения первой. То же самое произошло и со мной.

Л. Д. Что вы имеете в виду?

М. П. Я отчётливо вижу, что мои отроческие скитания — хочу того или нет — во многом повторили себя, начиная с моей жизни вне России.

Только осуществился этот повтор уже словно бы *на новом витке*. Мои маршруты проходили уже не через республики Советского Союза, но через государства Европейского Союза: Швеция, Германия, Австрия, снова Германия, Бельгия, снова Швеция, затем Италия, Франция... Географи-

ческая амплитуда нарастает: Соединённые Штаты Америки... Утром – Флорида, вечером – Сизтл... Калейдоскопически (уже не могу разделить их в своей памяти) мелькают Айова, Вермонт, Массачусетс, Огайо, Иллинойс – and so on, and so forth – можно по алфавиту.

Л. Д. Не исколечено, что благодаря такому образу жизни и формируется экзистенциальный тип сознания... Вот что я прочитала о вас в статье Сергея Боровикова (журнал «Новый мир») – это анализ вашей книги, которая выходила в престижной петербургской серии «Мастер»...

М. П. «Месторождение ветра»?

Л. Д. Да. Кстати сказать, великолепное лирическое название! Так вот что пишет рецензент: «От прозы Марины Палей исходит обаяние силы. Не женской, терпеливицкой, кроткой. И не мужеской силы подавления и преобладания. Силы экзистенциального сознания. По-моему, Палей экзистенциальна, как никто в современной русской прозе, экзистенциальна в квадрате».

М. П. Эта книга, «Месторождение ветра», была написана, кстати сказать, ещё в России. В тот период я ещё ни разу не была в «дальнем зарубежье».. Но оптическая система моего видения уже и тогда не замыкалась на... как бы это помягче сказать? – на местной специфике, да?

Один поэт, с печальным сарказмом, писал: «Спасибо Сталину, что *отвлекал* // От ужаса существования». В моём случае «ужас существования» я ощутила уже с рождения – точнее, с момента, когда прорезалась память, – и меня не могли «отвлечь» от этого ужаса или сбить с толку никакие социоисторические, политические, этноантропологические и любые прочие сиюминутные «причины». Сколько себя помню, я с большим недоверием относилась к такого рода цепочкам «причин» и «следствий».

С экзистенциальным (как и с любым другим) типом сознания индивиды, конечно, рождаются. А последующие страницы жизни – под тип сознания – просто «подвёрстываются». Сознание первично. Утверждаю как врач.

Л. Д. Как ведёт себя ваш русский язык в условиях других наречий?

М. П. В повседневной жизни я уже десять лет говорю по-нидерландски или по-английски. Таким образом, русский язык словно изменил свою природу. Для меня он уже никак не связан с бытом, «приватизован» – и сакрален в абсолютной степени. А для окружающих полностью скрыт – как внутренний орган, который придаёт странность поведению собеседника, но не поддается обнаружению даже рентгеном.

Л. Д. Я слышала, что вы, помимо писательства, создаёте своё one-person-show?

М. П. Да. Дело в том, что в своих прозаических текстах я обнаружила довольно много лирических фрагментов. Самодостаточных и тяготеющих к собственному развитию. Это спонтанные стихотворения в прозе. Их фонетическую музыку я соединила с музыкой инструментальной...

И оторопела от результата. Получилась не мелодекламация, не авторское чтение, не пение. Возник некий качественно новый жанр (результат, художественный продукт), которому дать название я пока не могу.

Л. Д. Как проходят ваше выступления?

М. П. Я выступаю, увы, не часто – и большей частью за границей. Среди зрителей бывают совсем не близкие мне люди – с навеки приросшей маской... И вот, по ходу действия, краем глаза, я начинаю замечать, как эти маски у них сметает – наотмашь – как взрывом.

Остаются лица. Исковерканные болью. И для меня становится ценным то, что зрители уже не могут, как бы они ни старались, защитить себя от чувств, которыми я их накачиваю. От моей воли, которой я их набиваю. При этом я погружаю их в поток – и заставляю пропускать его сквозь себя, по всему створу, под максимальным напором, причём в очень «плотном режиме». Как именно это я делаю? Не знаю. Неким *суммарным* на них воздействием, которому не берусь дать определение.

Л. Д. Мне говорили, это похоже на шаманство.

М. П. Возможно. Кстати, иногда я исхожу от обратного: специально пишу текст на музыку, которая уже существует (то есть первична). Иногда пишу текст даже на песню. В этом случае слова монолога, который произносит мой персонаж, ложатся на готовую песню с её собственными словами – то есть на песню, которая звучит «за кадром» (за занавесом) и является отличным экспрессивным фоном. Такое сочетание придаёт действию кинематографическую динамику и резко очерчивает драматургические границы.

Л. Д. Ваша фотография, которая помещена в газете, входит, как вы мне пояснили, в серию «La filoché» («Сеть для бабочек», франц. – *прим. переводчика*). Вы также упоминали вскользь о других сериях, например, «Les faces contraires de la Lune» («Обратные лица Луны») и «De la vie

des clowns et des arlequins» («Из жизни клоунов и арлекинов»). Можете ли рассказать об этом роде своих занятий?

М. П. Мне бы хотелось включить в свои выступления дополнительные элементы: игру со светом, а также мои фотографии и фотодизайнерские работы, в определённом ритме проецируемые на экран... Такая изопродукция уже существует, я создавала её в гаагской Королевской академии художеств.

Л. Д. Вы выступали там в качестве модели?

М. П. Не только. Натурщицей я работала давно, в Питере. А в Гааге я была также дизайнером и постановщиком. «Фототеатр Марины Палей» — это галерея моих ролей из спектаклей моего же воображения. Роли при этом (как и спектакли) самые что ни на есть разнообразные: это арлекины, клоуны, клоунессы, цыганки, маски комедии дель арте, постимпрессионистские персонажи в стиле Тулуз-Лотрека и экспрессионистские в стиле Отто Дикса, знатные испанские синьоры времен Гойи — и вполне вневременные космополитичные проститутки... И вот этот «Фототеатр» я хотела бы органично соединить с тем, что я делаю в моих нынешних выступлениях, где пока доминирует звук.

То есть я очень хочу преобразовать свои выступления в полноценное театральное действие. Но тому, к сожалению, препятствует мой уединённый образ жизни. И, как вполне закономерный результат, отсутствие спонсоров.

Л. Д. Вряд ли у вас, даже при желании, есть время их искать. Ведь вы занимаетесь также и переводами?

М. П. Да, я делаю поэтические переводы с европейских языков.

Л. Д. Переводчик, как сказал русский поэт Жуковский, является «не рабом автора, но его соперником»...

М. П. Очень точно. Переводила я (с вашего, если помните, Лияна, подстрочника) и словенского поэта Каэтана Ковича...

Л. Д. Возвратимся к мысли о моно- и мультикультуре...

М. П. Мультикультура никогда не была моей целью. Мои странствия, разумеется, не имели целенаправленной эстетической задачи. У меня была другая цель, сугубо инстинктивная, — сохранить своё достоинство и свой художественный дар — что, конечно, неразделимо.

А в итоге я обрела новое зрение. Обновила и усовершенствовала свою оптическую систему. Которая баснословно раздвинула границы моего сознания. Будучи писателем, то есть человеком, постоянно ставящим острый опыт на себе, я не делю свой опыт на «положительный» и «отрицательный». Я делю его только на старый и новый. Новый опыт был и остается моей целью, наградой и смыслом происходящего.

А ведь при этом дистанцию — от объекта художественной переработки — иметь просто необходимо. И, конечно, не умозрительную. Дистанция — это главнейший компонент в технологии творчества — по крайней мере, в моей. Я подразумеваю дистанцию (дорогу), которую познаёшь на своей шкуре.

Л. Д. Видимо, поэтому статья об одной из ваших книг так и называется: “Sprechende Körper” («Говорящее тело», нем. — *прим. переводчика.*)

М. П. Видимо, так. Мы «знаем», что Земля — круглая. То есть принимаем на веру сведения из школы, картинки из телевизора. Но ведь эта «вера», ясное дело, не есть наше личностное зрение, боль, опыт.

А видели Землю — такой, как она есть, — только те, кто побывал в космосе. Только те. Только они, единицы, действительно видели, причём в деталях, как именно выглядит Земля. Я отношу себя к таким единицам. Живя уже десять лет на значительной дистанции от своей изначальной культуры («дистанция» — ключевое для меня слово: одна из моих книг так и называется — «Long Distance, или «Славянский акцент»), я наконец-то эту культуру разглядела.

Л. Д. Как же она выглядит в ваших глазах сейчас? Лучше или хуже?

М. П. Мы сейчас не рассуждаем в категориях «лучше» — «хуже», ведь так? Суть вопроса в том, что свою исходную культуру, благодаря мультикультуральному опыту, я наконец уточнила. Гораздо чётче разглядела. Осознала глубже, острее. Вообще говоря — увидела целиком.

Я и есть астронавт, шагнувший в открытый космос и наконец узревший — ни много ни мало — Землю. И это — моё огромное, добытое в боях, преимущество. Исполинское преимущество — в сравнении с положением моих коллег, которые не располагают этой фантастической призмой.

Л. Д. Хочу закончить наше интервью словами того же Сергея Боровикова: «В том, что Марина Палей не желает быть предсказуемой, залог её силы.»

М.П. Возможно, он и прав. В скромных пределах, отпущенных человеку, мне удалось пройти через сотни ролей.

То немного, до чего у меня пока не дошли руки в так называемой «реальности», — это мой цвет кожи, пол и имущественный статус. Мне есть куда развиваться: я могу стать, например, пенджабским магараджей, безбедным тяньцзиньским мандарином или культовым афро-американским джазменом.

Знакомый озабоченно спросил меня в связи с этим: «Тогда подмигнёшь нам, о'кей? Дашь какой-нибудь знак, что это ты?»

И я ответила: «О чём речь! Конечно, я так и сделаю».

30.07.05.
Maassluis West